

Максим Горький

На Чангуле



Максим Горький

На Чангуле

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=638955

Аннотация

«...Степь раскалена солнцем, как огромная сковорода, посередине этой рыжей сковороды жарюсь я, несчастный ерш.

Выскакивают из нор суслики и, стоя на задних лапках, чистят передними свои хитрые мордочки, тонко пересвистываясь друг с другом. В них есть что-то общее с монастырскими послушниками.

По солончаку ползают заботливые букашки, трещат кузнечики и прыгают пред лицом моим маленькими серыми сучками...»

Максим Горький

На Чангуле

...Степь раскалена солнцем, как огромная сковорода, по середине этой рыжей сковороды жарюсь я, несчастный ерш.

Выскакивают из нор суслики и, стоя на задних лапках, чистят передними свои хитрые мордочки, тонко пересвистываясь друг с другом. В них есть что-то общее с монастырскими послушниками.

По солончаку ползают заботливые букашки, трещат кузнечики и прыгают пред лицом моим маленькими серыми сучками.

В пустом синем небе, немного правее и чуть-чуть пониже солнца, распластался коршун, такой же одинокий, как я на земле. Больше нет ничего живого ни в знойной высоте, ни на рыжем круге горячей земли, видимой мне; эту землю – бесплодную, иссохшую, как старая дева, – простые люди зовут «Дикое поле», ученые – «Малая Тартария».

Унылая земля...

Я прижался голой грудью к прохладному инею солончака; земля источает прямо в сердце мне острую, жгучую тоску, но это не та тоска, которая, разъедая душу ржавчиной желаний, неясных и больных, убивает ее, это – давняя моя подруга и законная дочь моей веры в силу жизни.

Я – человек лет двадцати двух, но уже успевший испытать

из огромной чаши жизни множество ядовитой горечи, – это приучило меня рассуждать больше, чем следует.

Моя тоска, должно быть, то самое, что именуют душою человека, это – существо, живущее в моей груди, оно всегда с неустанной силой толкает меня куда-то вперед, всё дальше, неугасимо разжигая сердце огнем желаний лучшего, мучая надеждой на сказочное счастье, взятое с боя.

Кроме этой тоски – со мной моя жадная юность; издыхая от голода, одиночества, она готова всё принять, всех любить; она любит смеяться надо всем – и над моей незрелой мудростью. Моя юность – самая милая и опасная половина существа моего, ибо – слишком ненасытная – она недостаточно брезглива и, как молодой козленок, плохо отличает жгучую крапиву от вкусных, душистых трав.

Это, неясно показанное, раздвоение личности переживалось мною весьма мучительно и нередко заставляло меня создавать драмы там, где можно бы ограничиться веселой игрою в легкой комедии.

Впрочем, – всё это мало интересно и едва ли относится к истории, которую я хочу рассказать вам, единственному человеку, с которым – заочно – я умею говорить так же легко и просто, как беседую с самим собою в минуты грусти.

Так вот, – я лежу в «Диком поле» и, положив подбородок на кулаки, смотрю в даль, к югу, где струится марево; в его прозрачном серебре качаются, маячат какие-то окаянные серые былинки, – такую же окаянной былинкой и я чувствую

себя в окружении жаркой пустоты под синим небом, в сухом зное степного солнца. Там, на юге, где колышется над пустою землей серебряная кисея марева, верст за пять от меня, лениво течет речка Чангул, по берегу ее стройно вытянулись белые хаты валахов, версты на две ниже их, у крутого изгиба реки, приютилась мельница, какая бывает только в сказках.

Я прожил на этой мельнице несколько часов, меня выгнали оттуда, и уже четвертые сутки я кружусь около нее, вспоминая пережитое, как скупец вспоминает о кошеле золота, отнятом у него.

Я наткнулся на эту мельницу неожиданно, поздно вечером; уже солнце опустилось за край степи, и с востока быстро шла душная ночь юга, но в темной воде Чангула еще отражался пожар вечерней зари, камышовая крыша мельницы блестела, как парча, в степь, навстречу мне, сердито смотрели красные глаза двух окон.

С восхода солнца по закат я прошел «Диким полем» верст сорок и не видел ничего живого, кроме бесчисленных сусликов, стаи голенастых дрохв, убежавших от меня, да белого луны, который обедал, сидя на камне, высунувшемся из земли, расклеывая головку суслика.

Целый день в небе – солнце, а на земле – только я; под раскаленным почти добела куполом небес – необоримая тишина пустоты; запоешь песню, звуки ее испаряются, как роса, а эха – нет.

Пустота, обладая способностью высасывать из человека

мысли и чувства, делает его подобным себе, – несомненно, что именно это ее свойство всегда привлекало и привлекает людей, стремившихся опустошить свое сердце, свой разум – достигнуть святости путем убийства своей души.

Я тоже был глуп, как пустынный, и голоден, как зимний волк, когда увидал мельницу, ласково раскрашенную вечерней зарей, красиво приподнятую над лиловой водою реки на трех больших камнях. Она не работала, заснув в духоте вечера, но был слышен тонкий звон падения тяжелых капель, и, точно сказку рассказывая, тепло журчала под колесом вода Чангула.

Две овчарки молча выкатились со двора под ноги мне; высокий сутулый человек чесал спину о вереву, равнодушно поглядывая, как я отбиваюсь палкой от собак, похожих на медведей; я крикнул, чтоб он отозвал их, – человек сунул в рот два пальца и пронзительно засвистал.

Собаки подбежали к нему, встряхивая побитыми башками, он строго спросил меня:

- Зачем бьете?
- А если б они разорвали меня?
- Н-ну... великое горе!
- Вы – хозяин?
- Зачем? Я – работник.
- Ночевать у вас можно?
- Хорошему человеку – можно.

У меня имелись некоторые основания считать себя хоро-

шим человеком – я был беден, не глуп и умел работать.

Я снял с плеч котомку, но человек строго предупредил меня:

– Погоди, спрошу...

И ушел, оставив меня при собаках, а они снова начали угрожающе рычать, оскаливая волчьи зубы, захлебываясь жирной злобой. Им вторил угрюмый звук струн кобзы, за углом мельницы глухой голос бормотал что-то на неведомом языке. Хотелось взглянуть за угол, но собаки не позволяли.

Красноватая вода реки, густая, точно кровь, медленно текла в темном теле степи; за рекою, точно ожившая земля, двигалась отара овец, заря окрасила их шерсть в рыжий цвет. Над ними верхом на конях качались две черных фигуры.

Кричали чабаны, один – суровым басом, другой – певуче и звонко, как женщина. Далеко в степи, в синем сумраке ночи, крепко обнявшей пустую землю, цвел красным цветом златокудрий огонь. Тихий шум множества копыт, усталое бляение, звериный крик чабанов и всё вокруг – вызывало такое впечатление, как будто я зашел куда-то глубоко в прошлое жизни, к истокам древних сказок.

Душное молчание скудной пустыни втекало в сердце песней без слов, а за углом всё скрипели, неприятно и непрерывно, эти сухие струны, безуспешно споря с тишиной. Звук странный, точно кто-то нехотя разрывал шелк разной плотности.

Старая мельница, обожженная солнцем, омытая многими

дождями, напоминала пряничный домик сказки, из темной ямы открытого окна вытекал запах горячего хлеба, возбуждая голод.

Со двора вышла маленькая старушка, с лицом в кулачок, в странном наряде, посмотрела на меня, приложив ко лбу ладонь, и шёпотом сказала, дважды кивнув головою:

– Мошно, мошно...

Собаки подошли к ней покорно, как и следовало; человек, стоя рядом с нею, служебно изогнулся, она что-то говорила ему по-валашски, глядя рукою мохнатые морды собак. Глаза у нее без белков, темные, как вишни, дряблые щеки опали вниз, маленький нос загнулся клювом, – всё в порядке, настоящая баба-яга.

– Тако, – сказала она, уходя за угол мельницы, а собаки, как привязанные невидимую цепью, пошли рядом с нею, потираясь боками о ноги ее.

– Гэх, гэх, – ворчала она, отталкивая их.

Работник, позевнув, спросил:

– Есть хочешь?

И крикнул во двор:

– Ганна, дай хлеба, молока...

Со двора ответили сердито:

– Сам достань, я легла...

– Ну, ну...

– Кому это?

– Прохожий.

– Черти его принесли!..

– Жена? – спросил я.

– А как же?

Работник, не торопясь, вынул из кармана трубку, кисет, опустил на скамью у крыльца.

– Садись. Издалека?

– Из России. А вы – русский?

– Не, я черниговский...

– Давно здесь?

– Пятое лето.

– Скучно?

– А что же?

– Хозяева – царане?

– Ну да!

– Богатые?

Человек раскурил трубку, сплюнул, поглядел на огонь ее и, прижав его пальцем, тоже спросил:

– Обокрасть хочешь?..

Южная ночь плотно покрыла землю теплой черной шапкой, в траурном небе вспыхнули синие звезды и серебряным маревом наметился звездный путь.

Тугая тишина вдруг лопнула, и, словно из какой-то светлой щели, брызнул и потек ручей густых звуков – струны кобзы согласно запели странную мелодию, потом все звуки слились в одну низкую тоскливую ноту, и прежде, чем она иссякла, к ней приник, обнял ее сочный женский голос, –

внятно и напряженно он пропел незнакомые слова:

Оэ, Мара, рэабулэ, Мара-а...

Инструмент повторил мелодию слов с настойчивой точностью, женщина снова запела, и вновь голос ее подхватили струны и опять слились в одну ноту, бесконечную, как степная дорога.

Так, чередуясь, женщина и кобза разносили песню по гладкому безмолвию ночи, как лунный свет по морю; было в этой песне глухое отчаяние, сжимавшее сердце, было в ней всё, чем бедна и богата степная ночь.

Женщина в белом, высокая и босая, неслышно подошла ко мне, поставила на край скамьи кувшин, положила краюху хлеба, спросила меня о чем-то и, тихонько засмеявшись, бесшумно ушла за ворота.

– Ешь, – сказал работник.

– Кто это поет?

– Хозяйка.

– Молодая?

– Ну да. А как же? Внука...

Он постучал трубкой о ноготь, наступил ногою на искры, высыпавшиеся под ноги мне, и спросил:

– Знатно играет?

– Да.

– Она – не в своем уме. Убитый человек.

Наскоро выпив молока, я сунул хлеб за пазуху, предлагая:

– Пойдем за ворота!

– Не-е...

– Пожалуйста!

Я долго упрасивал его, а он все посмеивался, отрицательно кивая головою, но наконец согласился нехотя:

– Ну, что ж...

За углом к стене хаты прислонился невысокий шалаш, покрытый камышом и заплетенный с двух сторон камышовым же плетнем, а третья сторона была открыта на реку и в степь. Посреди шалаша в маленькой тележке сидела пестро одетая женщина; было видно белое пятно ее лица, ленты на груди и голове, густые брови под шапкой встрепанных волос. На коленях у нее лежал инструмент, формой похожий на кобзу, а больше – на отрубленную голову с тонкой шеей. Над его верхней декой, на месте голосника, возвышался деревянный круг, до половины углубленный в кузов, над кругом было натянуто шесть тонких струн, а две басовых касались его с боков. В боку овального кузова торчала ручка, над черным грифом, на полоске поверх его, помещались лады; вращая одною рукою ручку, женщина прижимала лады пальцами другой, и струны, касаясь вращавшегося круга, давали звук кларнета, гнусавый, неяркий.

Женщина сидела неподвижно, напряженно прямо, глаза ее были закрыты, кварта, прижатая к кругу, трепетно дрожала, рождая длительный, негромкий стон; женщина, крепко

сжав губы, вторила ему носовым звуком. Это было некрасиво, раздражало.

Передние колеса тележки игрушечно малы, а задние значительно выше, – тележка похожа на кресло. Женщина была окутана пестрыми тряпками, полосатое одеяло, прикрывая ее ноги, спускалось концами на землю, за спиной ее – тугая красная подушка.

Маленькая темная фигурка старухи сидела у передних колес на бочке, перерезанной поперек, сидела, поставив локти на острые колени свои, подпирая детскую головку темными ладонями, и, точно ожидая кого-то, смотрела в степь. У ног ее лежали собаки. Сзади тележки стояла, пригорюнясь, большая белая Ганна.

Когда я вошел под крышу шалаша, старуха, отняв от лица левую руку, погрозила мне пальцем.

– Стань тут, – сказал работник, толкнув меня плечом к стене хаты.

Я присел на корточки, он прислонился к стене рядом со мною и заворчал, почесывая грудь:

– Это – на всю ночь. Как месяц полный, так она уж не спит, не пьет, не ест...

Женщина в тележке покачнулась, точно кто-то толкнул ее, открыла глаза и, прищурясь, устала на меня. Потом она тихонько засмеялась и, сказав несколько слов по-валашски, резко повернула ручку инструмента.

– Ой, матоньки, – вздохнула Ганна.

Старуха забеспокоилась, быстро заговорила с работником, помахивая рукою, он дважды кратко ответил ей, затем строго сказал мне:

– Недовольна, что ты пришел, не уважают они русских, боятся, – так я сказал – татарин ты...

В синей пустоте степи, влево от красной полосы зари, всё еще не догоревшей, тяжело поднималась над землей большая, точно колесо, тускло-медная луна. Стрекотали кузнечики, храпела собака; в черной воде Чангула сверкали золотые иглы звезд. Издали донеслось десять ударов чугунного била.

– Врет, – сказал работник, глядя на луну. – Нет еще десяти... Спать хочет и врёт...

Женщина смотрела в мою сторону, не мигая, точно ослепшая, и вдруг очень громко, так, что все вздрогнули, проговорила что-то, указав на меня рукой.

– Выгоняет?

– Подойди к ней, – приказал работник, толкнув меня коленом в плечо.

Я подошел; всё так же, не мигнув, она ощупала лицо мое большими темными глазами без блеска и выражения, точно у старухи. У нее лицо было сборное, из разных кусков, странно не связанных между собою: рот – маленький, по-детски пухлый, а брови – густые, точно усы, горбатый сухой нос и нежный крупный подбородок Волнистые непричесанные волосы тяжелой шапкой спускались на затылок, натягивая ко-

жу высокого лба. Ей можно было дать лет тридцать, но, закрыв глаза, она становилась моложе.

Смотрела она на меня, точно сквозь сон, и всё время ее маленькие, нерабочие руки гладили гриф и кузов кобзы, а на левой щеке, около уха, судорожно сокращался какой-то мускул, дергая ноздрю.

Когда она, опустив глаза, тихонько сказала что-то, работник дернул меня за рукав:

– Сиди, можно...

Женщина поправила инструмент и вдруг, низким голосом, очень грустно запела, качая головою, медленно подыгрывая Мелодия песни была неуловима, как полет ласточки; она так же нервно и слепо металась в тишине, неожиданно опускаясь до тихого стога и тотчас взлетая высоко, звонким криком отчаяния, испуга или страсти. Струны, напоминая звуками своими волынку и кларнет, вторили песне внушительно и громко, точно уговаривая страдающего человека, обнимая жалобы его спокойным потоком иной печали. Иногда казалось, что они передразнивают печаль песни.

Это было некрасиво и чуждо мне, но все-таки властно хватало за сердце, возбуждая желание убежать в степь...

Я не заметил, когда ушла Ганна и как муж ее, растянувшись на земле, уснул; старушка покачивалась сухой былинкой, ворчали во сне собаки, а незнакомые мягкие слова всё еще звучали, догоняя друг друга, и казалось, конца не будет им.

За рекою, берегом, у самой реки, кто-то шел; вот он закрыл своей черной головою низко висевшую луну; на воду реки, – на медный отсвет луны, – легла его тень; он остановился на секунду, тоже ответно запел и вдруг исчез.

Женщина перестала играть, точно у нее сразу отнялись руки, и завопила диким голосом кликуши, нагибаясь вперед, вытягивая шею. И старуха, вскочив, закричала плачущим голосом, обнимая большую, ловя ее руки, летавшие в воздухе; зарычали собаки, нюхая воздух. Проснулся работник, побежал в угол шалаша, принес оттуда ведро воды, ковш и крикнул:

– Ганна, куда тебя черти...

Он оглушительно свистнул, и вдруг суета, печаль и крик – всё прекратилось, убитое свистом; женщина тихонько плакала или смеялась, закрыв лицо руками, старушка, управляя ее кофту, ленты и волосы, бормотала, точно молясь, работник сказал мне:

– Ничего, спи, знай...

Мне показалось, что я давно уже заснул и вижу странный, беспокойный сон...

– Вот так – всегда, – тихонько говорил работник, усаживаясь на землю, – услышит голос и забьется, завопит, видно, мерещится ей, будто он зовет...

– Кто?

– Жених.

– А где он?

– Помер. Убили.

Старуха торопливо сказала что-то, – он почесал небритую скулу.

– Говорит – не уходи! Видно – боится тебя. Зря ты здесь...

Подумав, он сказал, кивнув головой в угол шалаша:

– Ступай, ложись там, на глазах у меня будешь. Ходите вы, эдакие вон, неприкаянно... Кто вас гонит?

Он вышел из шалаша, тотчас вернулся с толстой палкой в руках, лег рядом со мною, а палку положил под ноги себе так, что я в любую секунду мог схватить ее.

Женщина всхлипывала, точно обиженный ребенок, старуха всё бормотала незнакомые слова. Синие воды ночи заливали степь, черная фигура старухи шевелилась в темном сумраке, точно большая рыба на дне морском.

– Что же здесь случилось? – спросил я.

– Не здесь, а верстах в двадцати... – неохотно поправил меня работник. – Ехали они с ярмарки – она с женихом, – да запоздали. А тут – шахтеры кругом. Его «забили», а над нею – насильничали и хребет сломали ей, – ноги-то ее вовсе отнялись из-за этого. Убитый человек...

Набивая трубку табаком, он рассказывал о насилии и убийстве так просто, как говорят о воровстве арбузов с бахчи.

Огонек спички осветил на секунду круглое лицо в серой щетине, сонные, тупо задумавшиеся глазки, утиный нос.

– Боятся они теперь, особо – русских, как мыши кошек.

Богатым боязно жить. Да и этот, который шахтеров на убийство подкупил, тоже русский. Он сам хотел жениться на ней, ну, вот и придумал. Человек суровый. Засудили его в Сибирь, а с ним еще двух. Старуха всё ждет, – сбежит он из Сибири и прирежет их. Продает мельницу-то, хочет за Дунай к себе ехать, в румыны...

Было неприятно слушать его полусонные слова. Струны кобзы снова запели, к ним короткими восклицаниями присоединялся голос женщины.

– О чем она поет?

– Разное. До этого случая она сама складывала песни. Тут ее все царане почитали. Да и теперь... Хоша есть сукины сыны, – как давешний, – придут на тот бок реки и затают, заведут ее любимые, ну, а она – не терпит этого, ей всё мерещится, что жених зовет. И сейчас – закликает, затрепыхается. А им – забава. Дразнят, значит...

– Вы понимаете ее песни?

Он усмехнулся.

– А что ж! Я всякую песню по сотне раз слышал. Известно – девица, ну, и – поет о своем. Без ума живет, а свое помнит...

Нужно было долго просить его, чтобы он перевел слова песни, он согласился на это только тогда, когда я обещал подарить ему рубаху.

– Ну, вот, – начал он, прихмутив брови и вслушиваясь в тихое течение печальной мелодии, – ну, поет она так:

– Боже мой, боже! страшная дорога ночью в степи, а я – сирота, как луна в небе. Будь что будет, устала я ждать счастья, боже мой, господи!.. Сожгут луну зарницы, а меня тоска сожжет. Боже мой, – лукавая девица я! Буду счастливой, посею цветы на твоей земле...

Он, видимо, увлекался: вынул трубку изо рта, вытянул шею и напряженно мигал, вслушиваясь...

Кто скачет на белом коне, – не за мною ли счастье мое?

Над степью – луна, как золотой леток, в синем небе тихонько кружатся звезды – золотые пчелы, гудят струны, вздыхает негромкий мягкий голос, и слова работника сами собою слагаются в странные стихи:

Темная дорога ночью среди степи
– Боже мой, о боже! – так страшна!
Я одна на свете, сиротой росла я,
Степь и солнце знают – я одна!

Красные зарницы жгут ночное небо,—
Страшно в синем небе маленькой луне!
Господи! На счастье иль на злое горе
Сердце мое тоже все в огне?

Больше я не в силах ждать того, что будет...
Боже мой, как сладко дышат травы!
О, скорей бы зорю тьма ночная скрыла!

Боже, как лукавы мысли у меня...

Буду я счастливой, – я цветы посею,
Много их посею, всюду, где хочу!
Боже мой, – прости мне! Я сказать не смею
То, на что надеюсь... нет, я промолчу...

Крепко знойным телом я к земле приникла,
Не видна и звездам в жаркой тьме ночной,
Кто там степью скачет на коне на белом?
Боже мой, о боже! Это – он, за мной?

Что ему скажу я, чем ему отвечу,
Если остановит он белого коня?
Господи, дай силу для приветной речи,
Ласковому слову научи меня!

Он промчался мимо встречу злым зарницам.
Боже мой, о боже! Почему?
Господи, пошли скорее серафима
Белой, вещей птицей вслед ему!

Антон заснул, открыв мохнатый рот. Ночная птица, козодой, металась в застывшей тишине над бесплодной степью, над черной сталью реки; посвистывали мягкие крылья, точно шёлк, когда его гладит ветер. Ночная тоска маяла душу, возбуждая тревогу разных желаний, – хотелось петь, говорить, идти куда-то, прикоснуться к живому, хотя бы собаку

погладить или, поймав мышь, ласково сжать в горсти ее теплое, трепетное тело.

Я не шевелился, боясь испугать старуху, – сидя у ног больной, она всё тихонько покачивалась, но вдруг, согнувшись пополам, стала неподвижна, точно в ней сломалось что-то. Непрерывно гудели басовые струны, время от времени девушка подсказывала им непонятные слова. Одиночество, неисчерпаемое, как море, обняло степь, потопило ее, в сердце росла едкая жалость к земле, ко всему, что на ней. По синей тверди небес ослепительно черкнула серебряная звезда.

Дрожащим от напряжения голосом девушка вскричала знакомые слова:

– Оэ, Мара...

Это ударило меня в сердце такой острой тоскою, что я вскочил на ноги, подошел к больной и встал рядом, заглядывая в лицо ее. Она не испугалась, а только кивнула мне головою, не переставая петь; в ямах под ее бровями блестели глаза. В этом мерцающем блеске была неведомая, не испытанная мною сила, точно магнит притягивал сердце мое, – если б степь была зрячей, она, наверное, смотрела бы на человека вот так же, – медленно, с тихой и почти сладкой болью высасывая его сердце.

Слова песни стали еще более убедительными, насытились щемящей грустью, били по душе мягкими ударами. Кружилась белая кисть правой руки, связывая меня невидимой крепкой нитью; обессиленный, я всё склонялся к плечу

девушки, а когда она перестала играть, поправляя волосы, упавшие на глаза ей, я взял ее руку и поцеловал.

И это не испугало ее, – она даже улыбнулась полусонно, как будто издали видя меня, потом брови ее низко опустились и прямо в лицо мне она густо вздохнула:

– Оэ, Мара-а...

– Оо-о, – угрюмо запели струны на терцию ниже голоса.

Мучительно было слушать эту песню, а глаза девушки неотрывно смотрели в лицо мне, было в них что-то повелительное; следя за ними, я боялся мигнуть, и казалось, что в душу мою переливается темное безумие этих глаз.

Помню, мне хотелось сесть на землю у ног больной, зажмуриться и сидеть всю ночь, день, годы. Непонятная тяжесть наваливалась на меня, пригибая к земле; сердце билось медленно, сильными толчками, точно весь шероховатый шар земной вкатывался на спину мне. Покачиваясь от мягких толчков в такт песне, прижавшись плечом к плечу девушки, не отрывая глаз от ее лица, я, кажется, тоже что-то пел, говорил, а ее голос звучал всё сильнее, растекаясь в ночной восприимчивой тишине. И дьявольское однообразие песни жутко сливалось в единый стон с пустотой нищей земли.

Вот и я тихо обезумел и уж навсегда останусь таким, буду ходить по земле, немой бродяга, слушать ее грустные песни, мучиться ими, не умея ответить ее стонам своей песней, не имея сил сказать свое слово.

Наконец девушка замолчала, глубоко вздохнув; что-то горячее коснулось моей щеки: это она гладила меня ладонью по лицу, как слепая.

Я покорно подчинялся ее ласке; мне чудилось, что большая что-то вспоминает, хотелось, чтоб она вспомнила, и я ждал, что вот еще немного – к ней вернется разум.

Тележка закрипела, подвинулась назад; тотчас вскочила на ноги старуха, крикнула и метнулась ко мне, взмахивая руками, точно отгоняя птицу.

Девушка засмеялась.

– Да не бойтесь вы, – сказал я старухе, она снова крикнула и, прыгая предо мной, точно курица, стала звать:

– Антонэ, Антонэ...

Работника разбудил я сам. Он встал на ноги, грубо сказал что-то старухе, прервав ее гневное шипение, потом спросил меня обиженно:

– Что же мне – не спать из-за тебя?

И ткнул рукой в степь, добавив:

– Ступай, уходи...

Я пытался уговорить его гнев, но он взял палку и, тыкая ею в землю под ноги мне, решительно лез на меня, заставляя пятиться перед ним. Очень хотелось ударить его по тупой голове, – он уже дважды и больно ткнул палкой в ступню моей ноги, заставив меня танцевать.

– Слушай, – сказал я ему, когда он вытеснил меня из шалаша, – чёрт с тобой, я уйду. Только ты расскажи – что она

пела.

Сначала я просил грубо, потом униженно, как нищий; он мычал, ругался, кривил пустое лицо, стараясь сделать его грозным, но наконец что-то рассмешило его в моих словах, и, смеясь, он сказал:

– А ты тоже сумасшедший!

Девушка снова пела тихонько:

– Оэ, Мара...

На темном ее лице лежали медные полоски лунного света...

Антон, стоя против меня грудь с грудью, объяснял, усмехаясь:

– Пришел под окно к девице разбойник и говорит: «Ой, Мара, значит – Марина, – скоро я умру, полюби меня». Больше ничего! Уходи ты, сделай милость! Нехорошо беспокоить людей. Что еще? Я же сказал: принес он ей награбленное и просит – полюби, я хоть старик... Вот, – кричат меня! Иди...

Я пошел берегом реки против течения; на плотине журчала вода, рассказывая серебряную сказку, надсадно звучали струны, плыла в безмолвии ночи суровая и жалобная песня.

Ой, Мара!

К тебе под оконце

Пришел я недаром сегодня,

Взгляни на меня, мое солнце,

Я дам тебе, радость господня,

Монисто и талеры, Мара!

Ой, Мара!

Пусть красные шрамы

Лицо мое старое режут,—

Верь – старые любят упрямо

И знают, как женщину нежить,

Поверь сердцу старому, Мара!

Ой, Мара!

Ты знаешь, – быть может,

Бог дал эту ночь мне последней.

А завтра меня уничтожит,—

Так пусть отслужу я обедню

Святой красоте твоей, Мара!..

Ой, Мара!

Двое суток бродил я по степи вокруг мельницы, – нестерпимо хотелось послушать еще раз песни девушки. Подходил близко, смотрел издали на камышовую крышу, седую от дождей, на сухое колесо и реку, подмывающую камни, – на мельнице было тихо и мертво и днем и по ночам.

Уходил в степь верст за десять и дальше, потом – снова возвращался, видел, как по двору шагает Антон с трубкой в зубах, а у ворот в тени лежат собаки.

Ни старуху, ни девушку я не видал больше, точно они в землю ушли.

– Оэ, Мара!..

Вероятно – давно уже умерла девица...